



ВСТУПЛЕНИЕ

Готовя эту книгу к новому изданию, я вспомнил, что именно в главах романа «Вдали от обезумевшей толпы», в то время как он выходил ежемесячно в одном из популярных журналов, я впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему фиктивное значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство. Задуманная мною серия романов в большей степени связана местом действия, и для того, чтобы сохранить это впечатление единства, требовалось дать какое-то определенное представление о территории. Поскольку я видел, что площади какого-нибудь одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна, и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название. Местность, охватываемая им, известна довольно смутно, и даже весьма образованные люди нередко спрашивали меня: где это, собственно, находится? Однако и читающая публика, и печать отнеслись вполне благожелательно к моему причудливому плану и охотно признали допущенный мною анахронизм, позволявший вообразить себе обитаемый Уэссекс, существующий при королеве Виктории; Уэссекс сегодняшнего дня, с железными дорогами, почтой, сельскохозяйственными машинами, общественными домами призрения, серными спичками, землепашцами, умеющими читать и писать,

и казенными детскими школами. Но я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что до того, как этот современный Уэссекс на месте теперешних графств появился в моей повести в 1874 году, его никогда не было и в помине ни в литературе, ни в разговорах. И, встретив такое выражение, как «уэссекский пахарь» или «уэссекский обычай», всякий подумал бы, что речь идет о давних временах — эпохе не позже норманнских завоеваний.

Мне не приходило в голову, что применение этого слова в изложении современных событий выйдет за пределы моей хроники. Но оно было очень скоро подхвачено, первым применил его ныне уже не существующий журнал «Экзаминаер», который в своем выпуске от 15 июля 1876 года озаглавил одну из своих статей «Уэссекский пахарь», причем статья была посвящена не сельскому хозяйству англосаксов, а современному положению крестьян в юго-западных графствах.

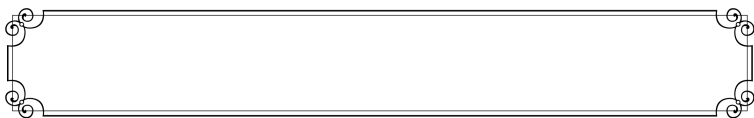
С тех пор это название, которое я приурочивал к вехам и ландшафтам наполовину существующего, наполовину выдуманного края, все больше и больше входило в обиход как подлинное обозначение некоторых наших провинций. И постепенно мой вымышленный край обрел черты вполне реальной местности, куда люди могут поехать, снять себе дом, писать оттуда в газеты. Но я прошу моих добрых и склонных к фантазиям читателей не тешить себя этой мыслью и не верить, что жители викторианского Уэссекса существуют где-либо помимо этих книг, которые подробно рассказывают об их жизни, разговорах и нравах.

Более того: тому, кто попытался бы разыскать в какой-то существующей ныне местности селение по имени Уэзербери, где происходит большая часть действий, описанных в моей хронике, вряд ли удалось бы это сделать собственными силами, хотя еще сравнительно недавно, когда писалась эта повесть, можно было без труда найти близко соответствующие описанию приметы местности

и черты действующих лиц. По редкой счастливой случайности еще сохранилась нетронутой описанная мною церковь и несколько старых домов. Но старинная солодовня — достопримечательность прихода — снесена уже двадцать лет тому назад, и большинство домиков с соломенными крышами и слуховыми окнами разделили ту же участь. Прекрасный старинный дом героини перенесен в моей повести, по крайней мере, на милю от того места, где он действительно находится, но если не считать этого, он и по сию пору, и при солнечном и при лунном свете, выглядит точь-в-точь так, как он описан. Игра в бары, которая совсем недавно чуть ли не круглый год велась с неослабеваемым азартом перед обветшалой хлебной биржей, теперь, насколько мне известно, совсем не в чести у современных ребят. Гадание по Библии с ключом, письма на Валентинов день, чему придавалось такое важное значение, ужин по окончании стрижки овец, длинные балахоны стригачей, празднества после уборки хлеба — все это исчезло вместе со старыми домами, а вместе с этим исчезли и посиделки с выпивкой, которые так любила старая деревня. Коренной причиной всех этих перемен было совершившееся недавно постепенное вытеснение постоянного класса местных жителей, поддерживавших местные традиции и обычаи, и замена их сезонными рабочими, переходящими с места на место. Это оборвало течение истории местного края, ибо необходимое условие для сохранения преданий, фольклора, тесных взаимоотношений и своеобразных типов, характерных для этой среды, — это крепкая привязанность к почве, к одному месту, где рождаются, растут и сменяются одно поколение за другим.

Т. Г.

1895—1902



ГЛАВА I

ПОРТРЕТ ФЕРМЕРА ОУКА. ПРОИСШЕСТВИЕ

Когда фермер Оук улыбался, губы у него так расплывались, что углы рта оказывались где-то возле ушей, а глаза становились узенькими щелками, и вокруг них проступали морщинки, которые разбегались во все стороны, словно лучи на детском рисунке, изображающем восход солнца.

Звали его Габриэль, и в будние дни это был рассудительный молодой человек, одетый как полагается, державшийся спокойно и просто, — словом, во всех отношениях вполне положительная личность. По воскресеньям это был человек несколько неопределенных взглядов, склонный к медлительности и скованный в движениях своей праздничной одеждой и зонтом, — словом, человек, сознающий себя частью того обширного срединного слоя ни во что не вмешивающихся лаодикеев, который отделяет благочестивых прихожан от пьянствующих низов прихода; скажем так, он ходил в церковь, но посреди службы задалго до «Символа веры» уже начинал позевывать, а когда дело доходило до проповеди, он, вместо того чтобы внимать ей, раздумывал о том, что у него нынче будет на обед. Ну, а если характеризовать его исходя из общественного мнения, то можно сказать так: когда его друзья и судители бывали не в духе, они говорили, что он никудышный человек; когда они бывали навеселе, он становился «славным парнем», а в тех случаях, когда они были ни то, ни дру-

гое, он слыл у них не черным, не белым, а чем-то средним, или, как говорится, — серединка на половинке.

Так как будничных дней в жизни фермера Оука было в шесть раз больше, чем воскресных, то все, кто видел его изо дня в день в обычной рабочей одежде, не представляли его себе иначе, как в этом естественном для него, затрапезном виде. Он всегда ходил в войлочной шляпе с низкой тульей, примятой и раздавленной книзу, потому что в сильный ветер он нахлобучивал ее на самый лоб, и в теплой куртке, наподобие душегрейки доктора Джонсона. Его нижние конечности были облачены в толстые кожаные гетры и исполинских размеров башмаки, в которых каждой ноге предоставлялось просторное помещение такого добротного устройства, что обутый подобным образом мог целый день простоять в воде и не почувствовать этого; создатель этих башмаков, человек совестливый, все погрешности кроя старался возместить беспредельностью размера и прочностью.

Мистер Оук всегда носил при себе серебряные часы, по форме и назначению карманные, но по размеру скорее напоминавшие небольшой будильник. Этот механический прибор, будучи на несколько лет старше деда фермера Оука, отличался тем, что он либо спешил, либо останавливался. Кроме того, его маленькая часовая стрелка время от времени соскальзывала, и таким образом, если даже минуты отмечались с безошибочной точностью, никогда нельзя было быть уверенным, к какому они относятся часу. Со свойством своих часов останавливаться Оук боролся постукиванием и встряхиванием, а от каких-либо дурных последствий двух других недостатков спасался тем, что постоянно проверял время по солнцу, по звездам или же, прильнув лицом к окну своих соседей, старался разглядеть на зеленом циферблате их стенных часов местонахождение часовой стрелки. Следует еще заметить, что карман, в котором Оук носил часы, был чрезвычайно трудно до-

стижим, ибо он помешался в самой верхней части пояса его штанов, пристегнутого высоко под жилетом; поэтому, чтобы достать часы, Оук вынужден был откинуться всем туловищем в сторону, и когда, весь мучительно сморщившись, так что лицо и губы превращались у него в сплошной коричневато-красный комок, он наконец ухватывал цепочку и вытаскивал часы, это было похоже на то, как тащат ведро из колодца.

Но если бы какой-нибудь наблюдательный человек встретил его в то декабрьское утро — солнечное и на редкость мягкое, — когда он шагал по одному из своих загонов, возможно, у него сложилось бы иное представление о Габриэле Оуке. Лицо этого вполне взрослого мужчины еще сохранило совсем юношескую мягкость и свежесть красок, и даже что-то мальчишеское нет-нет да и проскальзывало в его чертах. Его рослая, широкоплечая фигура, несомненно, привлекала бы внимание, если бы он только держал себя с подобающей внушительностью. Но у некоторых людей, как у горожан, так и у крестьян, их манера держать себя зависит не столько от их костяка и мускулов, сколько от их душевного склада. Они не показывают себя во весь рост, и от этого на самом деле кажутся меньше. Фермер Оук по какой-то застенчивой скромности, которая пристала бы разве что невинной девице, казалось, постоянно был одержим мыслью, что ему не положено занимать много места, и поэтому он старался не привлекать к себе внимания и ходил не то что сутулясь, а слегка втянув голову в плечи. Это могло бы считаться недостатком у человека, который стремится произвести впечатление, полагаясь на свою внешность больше, чем на умение держать себя, но фермер Оук отнюдь не притязал на это.

Он только что достиг того возраста, когда люди, говоря о нем, перестали предпосылать к слову «человек» обязательную приставку «молодой». Он вступил в счастливей-

шую пору в жизни мужчины; и ум и чувства его были четко разделены: он уже миновал то время, когда по молодости лет чувства у юноши вторгаются в разум и заставляют его подчиняться их внезапному побуждению, но для него еще не настала пора, когда под влиянием жены и семьи чувства снова завладевают разумом и порождают предвзятость. Короче говоря, ему было двадцать восемь лет, и он был не женат.

Поле, по которому он шагал в это утро, раскинулось по косогору одного из увалов холма, носившего название Норкомбский холм. Через отрог этого холма пролежала дорога из Эмминстера в Чок-Ньютон. Взглянув мимоходом поверх изгороди, Оук увидел спускающуюся по дороге нарядную рессорную повозку, выкрашенную в желтый цвет с пестрым узором; повозку везла пара лошадей, а возчик шагал рядом с кнутом в руке, который он держал, опустив вниз. Повозка была нагружена домашним скарбом, цветочными горшками с комнатными растениями, а поверх всего этого сидела молодая привлекательная женщина. Габриэль едва успел охватить взглядом это зрелище, как вдруг повозка остановилась почти против его изгороди.

— Задок потеряли, мисс, — сказал возчик.

— Так это я, верно, и слышала, как он упал, — отозвалась девушка не то чтобы тихим, но скорее мягким голосом. — Я слышала, что-то стукнуло, когда мы поднимались в гору, да мне не пришло в голову, что это задок.

— Пойду погляжу.

— Ступайте, — сказала она.

Умные лошадки стояли спокойно, и шаги возчика, удаляясь, вскоре затихли вдали.

Девушка сидела не двигаясь на груде домашнего скарба, среди перевернутых вверх ногами столов и стульев, прислонясь к громоздившемуся за ее спиной дубовому ларю и живописно обрамленная спереди горшками с геранью, миртами, кактусами и клеткой с канарейкой, — все

это, вероятно, было снято с окон только что покинутого дома. Тут же была и кошка в плетеной корзинке с крышечкой, которая была задвинута не до конца; кошка, жмурясь, выглядывала из корзинки и провожала умильным взглядом порхавших кругом птичек.

Хорошенькая девушка некоторое время сидела, спокойно откинувшись, и в тишине слышно было только порхание канарейки, перепрыгивающей с жердочки на жердочку в своей клетке. Затем девушка внимательно поглядела куда-то вниз; не на кошку и не на канарейку, а на какой-то продолговатый сверток в бумаге, лежавший между корзинкой и клеткой. На секунду она оглянулась посмотреть, не идет ли возчик. Его еще не было видно, и взгляд ее снова устремился к свертку: по-видимому, мысли ее были поглощены тем, что в нем находилось. Наконец она протянула руку за свертком, переложила его к себе на колени и развернула; это оказалось маленькое висячее зеркало, она поднесла его к лицу и стала пристально себя разглядывать, потом вдруг разомкнула губы и улыбнулась.

Это было чудесное утро; в ярком солнечном свете ее бордовый жакет казался огненно-красным, и мягкие блики скользили по ее оживленному лицу и темным волосам. Мирты, герань, кактусы, громоздившиеся вокруг нее, были зелены и свежи, и в это безлиственное время года они придавали всему — и лошадям, и повозке, и домашнему скарбу, и девушке — какое-то особенное, весеннее очарование. Что это ей вздумалось вдруг пококетничать, когда кругом не было ни души и никто не мог наблюдать за ней, кроме воробьев, дроздов да этого фермера, о присутствии которого она не подозревала, — кто знает; была ли эта улыбка деланой, не началось ли все с того, что ей захотелось попробовать свои силы в этом искусстве, — сказать трудно, но, несомненно, потом улыбка стала естественной. Девушка даже слегка покраснела и, глядя на себя в зеркало, еще больше залилась краской.

То, что все это происходило не в обычной обстановке в часы одевания, в спальне, когда глядясь в зеркало по необходимости, а в повозке под открытым небом, сообщало этому праздному занятию характер новизны, которой оно, в сущности, не обладало. Получилась прелестная картинка. Обычная женская слабость выглянула украдкой на свет и вдруг заиграла на солнце каким-то неожиданным своеобразием. Глядя на эту сцену, Габриэль Оук, как ни великодушно он был настроен, не мог не прийти к довольно-таки циническому умозаключению: ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало. Она не поправила на себе шляпу, не пригладила волосы, не провела рукой по лицу и не сделала ни одного жеста, который позволил бы догадаться, почему, собственно, ей понадобилось смотреться в зеркало. Она просто созерцала себя как достойное произведение природы, создавшей такой прекрасный экземпляр женского пола, и, должно быть, ей представилось некое отдаленное, но вполне вероятное будущее, когда вокруг нее будут разыгрываться драмы с участием мужчин — и они все у ее ног. Тут, верно, и появилась эта улыбка — она уже видела себя покорительницей сердец. Конечно, все это было не больше чем предположение; и, во всяком случае, все движения ее были так непосредственны, что усмотреть в них какую-то преднамеренность было бы весьма опрометчиво. На дороге слышались шаги возвращающегося возчика. Она завернула зеркало в бумагу и положила сверток на прежнее место.

Когда повозка двинулась дальше, Габриэль покинул свой наблюдательный пункт и, спустившись на дорогу, пошел следом за повозкой к заставе у подножья холма, где объект его наблюдений вынужден был остановиться для оплаты дорожных сборов. Еще не дойдя до заставы, шагах в двадцати он услышал громкие пререканья. Люди с повозки спорили со сторожем у заставы из-за двух пенсов.

— Племянница хозяйки, вон она сидит на возу, говорит, что достаточно с тебя и того, что я дал, сквалыга ты этакий, больше она платить не будет! — кричал возчик.

— Очень хорошо, тогда, значит, племянница хозяйки дальше не поедет, — отвечал сторож, закрывая ворота.

Оук, приблизившись к спорщикам, молча переводил взгляд с одного на другого и размышлял. Два пенса казались ему сейчас чем-то совершенно ничтожным. Три пенса — это уже были деньги, урвать три пенса из дневного заработка — это чувствительный урон, есть из-за чего торговаться; но два пенса...

— Вот получите, — сказал он, выходя вперед и протягивая сторожу двухпенсовик, — пропустите эту молодую женщину.

И он поднял на нее глаза, а она в этот миг, услышав его слова, поглядела вниз.

Лицо Габриэля в общих чертах представляло собой до такой степени нечто среднее между прекрасным ликом апостола Иоанна и безобразным Иудой Искаротом, какими они были изображены на потускневшем витраже церкви в ее приходе, что глазу не на чем было задержаться. Оно не привлекало к себе внимания, ибо ничем не выделялось. К такому же заключению пришла, по-видимому, и темноволосая девушка в красном жакете, потому что она только бегло скользнула по нему взглядом и приказала возчику трогать. Может быть, этот взгляд и был изъявлением благодарности Габриэлю, но она не сказала ему спасибо, да скорей всего и не чувствовала никакой благодарности, потому что, заплатив за ее проезд, он тем самым заставил ее сдать в споре, а какая женщина будет признательна за такого рода услугу?

Сторож проводил взглядом удаляющуюся повозку.

— А красивая девушка, — заметил он, поворачиваясь к Оуку.

— И у нее есть свои недостатки, — сказал Габриэль.

— Верно, фермер.

— И самый большой — это тот, что всегда за ними водится.

— Морочить добрых людей? Что правда, то правда.

— Да нет, совсем не то.

— А что же тогда?

Габриэль, может быть, слегка уязвленный равнодушием миловидной путницы, поглядел через плечо на изгородь, из-за которой он только что наблюдал пантомиму с зеркалом, и сказал:

— Суетность, вот что.

ГЛАВА 2

НОЧЬ. ОТАРА. БЫТОВАЯ КАРТИНКА. ЕЩЕ БЫТОВАЯ КАРТИНКА

Это был канун Фомина дня, самого короткого дня в году. Время было около полуночи... Отчаянный ветер дул с севера из-за того самого холма, где всего несколько дней тому назад, в ясное солнечное утро, Оук наблюдал желтую повозку и сидевшую в ней путницу.

Норкомбский холм недалеко от пустоши Толлердаун принадлежал к норкомбским земельным угодьям, которые сдавались в аренду под овечьи выгоны, и путнику, идущему мимо этого холма, невольно приходило на ум, что эта ровная округлость, пожалуй, одно из самых несокрушимых образований земной толщи, какое только можно встретить на земном шаре. Эта ничем не примечательная выпуклость из песка и мела, похожая на обыкновенную шишку, вздущуюся на поверхности земли, уцелела бы, вероятно, при любом катаклизме, который сокрушил бы гораздо более высокие горы и мощные гранитные скалы.

На северном склоне холма была когда-то заповедная буковая роща, которая давно уже пришла в запустенье и превратилась в дикую чашу: кроны ее верхних деревьев поднимались над гребнем косматой дугой, словно вздох-